

Сорока

Передвижной госпиталь, куда зимой сорок пятого привезли связного Сороку и автоматчика морской пехоты Ивана Межнева, располагался в старом замке в небольшом венгерском местечке с таким длинным названием, что сразу и не выговоришь. В этой же машине доставили четырех артиллеристов, но один из них через сутки умер, а двоих отправили в тыл. В палате теперь оставались старик, весь перебинтованный, из ездовых, подвозивших снаряды, Межнев и Сорока - совсем еще подросток. Осколок повредил ему коленку, и он стискивал зубы от боли, но не соглашался на операцию.

Сорока был откуда-то из-под Кром, ночью бредил, все вспоминал леса, поля да рыжую девчонку, с которой подружился в школе перед уходом на фронт.

- А без ноги мне на земле делать нечего, - убеждал он врача, уже немолодого, толстого и добродушного человека, недавно призванного в армию из запаса. Всю жизнь проработал Павел Сергеевич в сельской больнице и не мог не понять крестьянскую душу орловского паренька.

На пустую койку положили пожилого венгра из местных, пострадавшего при бомбежке. Медсестра, глазастая Тоня, узнала, что это известный художник Эндре. Он помогал партизанам и бежал сюда, в горы, спасаясь от фашистов.

Врачи занялись живописцем и Сороку вроде бы оставили в покое. В соседние палаты привезли еще раненых; медикам прибавилось забот, тем более что часть персонала госпиталя куда-то передвинулась.

Быстрее всех пошел на поправку Иван Межнев. На своем длинном солдатском пути от Москвы до Волги, а затем через орловские поля и украинские степи до самого голубого Дуная он не раз попадал в медсанбаты и госпитали.

- На мне, как на собаке, заживает, - приговаривал он, поглядывая на Сороку. - Главное, чтобы ход сохранить, а там один курс - на запад.

Поднимая перебинтованную ногу, хватаясь за спинки кроватей, он подпрыгивал к длинному стрельчатому, как и полагается в замке, окну, вглядываясь в почерневшие от ранней оттепели горы, настороженно прислушивался. В начале февраля еще доносились с Балатона глухие перебаты артканонады, а потом все смолкло.

- Возьмут без нас Будапешт, если уже не взяли. - Межнев присел на кровать ездового, едва не задев сложное сооружение из дощечек и марли.

- Тише, торопыга, - слышалось из-под одеяла. - Война кончается, а он все в огонь рвется...

- Глянь-ка, - удивился Межнев, - у нашего доходяги голос прорезался. Сигналы подает... Значит, дед, считаешь, торопиться больше не надо?

И без тебя все дооформят, как следует быть, - проворчал старик. - Благодарю, малый, что жив остался... Работать кому-то надо...

- А мне при шапочном разборе дюже побывать охота, - не унимался Иван. - После Будапешта, считай, вся наша лавина на Берлин хлынет. Хочу на рейхстаге якорек припечатать. На вечные времена.

Межнев посмотрел на соседние койки. Старый венгр - лицо как скомканная бумага - облизывал пересохшие губы и закатывал глаза. Помалкивал и Сорока, устремив неподвижный взгляд в серое небо над черными горами за окном.

- Да... Мертвая зыбь в нашей гавани. Отгородили скалами и в трюм загнали, - пробормотал Иван.

- Как в тюрьме, - прошептал Сорока, и голос его дрогнул.

Межнев смутился:

- Ты что, салага, совсем флаг опустил? Еще повоюем, братишка!

А на утреннем обходе Павел Сергеевич дольше всего задержался возле Сороки и сердито хмурился. Паренька понесли на перевязку, а привезли его лишь к вечеру и уже из операционной. Наркоз долго не отходил, и Тоня отчаянно шлепала парня по щекам. Открыв глаза, он не сразу сообразил, где находится и что с ним. И вдруг опомнился и, перебивая самого себя, жарко заговорил:

- А нога цела?.. Ага, цела, - и обрадовался: - Я пятку чувствую, и коленка на месте...
Тоня молча опустила голову, и раненые все поняли, старались не смотреть на парня. А он, успокоенный, заснул.

Ночью, под утро, когда сизый туман за клубился в окнах, Межнев услышал жалкий детский плач. Одеяло, которое Сорока натянул на голову, содрогалось от рыданий.

- Что ты, братишка? Что ты, солдат? - успокаивал Иван.

А солдат плакал, уже не стесняясь, плакал о своей искалеченной юности, о рыжей девчонке, которая ждала его не таким, о груше-дикарке возле хаты, куда взбирался он, чтобы шире видеть мир, набравшие силу хлеба, сочные камыши у окуневых затонов Оки и пронизанные солнцем перелески.

И никто не спал, и все тоже думали и о себе, и об этом мальчишке, и о его разбитых мечтах.

Заглянула в палату Тоня и присела у Сорокиной койки.

- Ну зачем они так?! Зачем меня обманули?! - захлебывался он слезами. - Кому я нужен теперь?..

- Тебя от смерти спасли. И не кричи, - строго сказала Тоня.

Днем вся палата старалась отвлечь парнишку от его большой беды. Межнев травил анекдоты. Но они быстро гасли, вроде бы не к сроку рожденные, и наступали долгие, неуклюжие паузы.

Старик ездовой ударился было в далекие воспоминания о гражданской войне, о походах, перечислял города, где пришлось сражаться.

- А вы и под Нарвой были? - спросил вдруг на чистом русском языке старый венгр. - Я тоже там воевал. Связным, как и он... сынок наш. Наверно, столько же и мне было лет.

Это прозвучало так неожиданно, что все замолчали. Даже Сорока притих.

То, о чем рассказывал Эндре, ему вроде уже давно было знакомо. Еще в школе он читал, как рождалась Красная Армия. Но взволнованная речь художника совсем не была похожа на те страницы учебника. Эндре говорил о боях под Нарвой как о самом дорогом в своей жизни событии, вспоминал товарищей и командиров так сердечно, как говорят лишь об очень близких, о семье, о любимой.

<...> Сорока неожиданно опять застонал и приподнялся.

- А я сон видел, - замотал он головой, словно умоляя его послушать. - Пашу я землю, а вся она кровью полита... Красная, как глина. А потом сеять стал. И спешу, кидаю горстями зерна, будто в старину, из лукошка, а позади меня красные маки так и всходят, одни маки...

Замолчал Сорока, набрал дыхания, несколько слов выдал:

- Неужто умру? Как же это так? И еще...

Не договорил молодой солдат, притянула его голову с легким льняным чубом тяжелая подушка.

Прибежали медики, увезли Сороку.

Тоня потом рассказала, что ему снова операцию сделали. Антонов огонь выше по ноге перекинулся. И лежит он теперь в изоляторе. Павел Сергеевич говорил, что шансов совсем мало, а Сорока в свою палату просится. "Я там, говорит, живу".

- Пусть везут! Я пойду к самому начальнику, - вскочил и чуть было не свалился с кровати Межнев. Спасибо костыли выручили. С их помощью морячок последнее время все чаще пропадал за оградой госпиталя. Однако на этот раз он возвратился быстро. - Будапешт взяли! - закричал еще в дверях, размахивая бутылкой вина. - Настоящее, токайское. А на камбузе обед готовят праздничный. Отметим, братишки!

Дня через три художнику предложили переехать в столичную больницу, но он отказался. Тогда ему принесли трофейный радиоприемник, бумагу и краски. Он тут же начал рисовать, хотя пальцы обеих его рук еле выглядывали из-под гипсовых панцирей. Рисовал он раненых. Солдаты бережно свертывали свои портреты в трубочку и посылали домой.

Сорока, которого вернули все же в палату, был совсем плох. Ночью, натянув одеяло на голову, он тихо плакал, а днем молчал и никому ничего больше не рассказывал. На его койку частенько присаживался художник - он уже мог двигаться, - включал приемник, искал

Москву.

Однажды передавали новую песню. Она пришлась солдатам по душе. Иван Межнев разучил ее и после очередного "прочесывания" окрестной местности яростно напевал:

И под звездами балканскими
Вспоминаем неспроста
Ярославские, да брянские,
Да смоленские места...

- Тише, Ваня, - попросил Сорока, едва шевеля губами и прислушиваясь.

За окном звонко стучала капель... Шла бурная венгерская весна с ее радостными криками на ожившей земле: крестьяне делили помещичьи хольды, поднимали дома. А где-то там, на севере, все еще умирали люди. Наши войска приближались к Берлину -завязывались последние бои.

...Сорока умер рано утром, когда все спали. Рука его прижимала к груди лист бумаги, на которой Эндре нарисовал русское поле, приземистую хату под золотой соломой и рядом, на косогоре, охваченную майским солнцем, в белом венчальном платье грушу-дикарку.